

СТАТЬИ

Стивен Сестанович

ЧАС ДЕМАГОГА

Заговор против Михаила Горбачева и последовавшие за ним события вынуждают нас еще раз и более внимательно присмотреться к динамике антикоммунистической революции. С момента первых судорог советской империи в 1989 г. и участники событий, и внешние наблюдатели в равной мере видели основную угрозу демократии в политическом экстремизме. В конце концов, все затронутые этим кризисом страны имели в своем активе очень слабые конституционные традиции, а жесткие меры, необходимые для запуска посткоммунистических экономик, чрезвычайно суровое испытание. В условиях же политической неразберихи и социальной напряженности противники демократии, будь то беспринципные площадные ораторы или генералы на танках, могли надеяться на удачный выход на сцену. Напротив, политики, движимые духом согласия и компромисса, были, казалось, обречены на поражение.

Но разве это случилось в Советском Союзе? Конечно, антигорбачевский заговор доказал реальность угрозы неоавторитаризма. Но где же угроза демократии, которую мы усматривали в радикальном популизме? Вчерашняя угроза обернулась сегодняшним спасением. Те официальные лица и комментаторы, которые только что превыше всего превозносили постепенные и упорядоченные реформы, вдруг стали утверждать, что все будущее советской свободы покоилось на способности одного разгневанного человека поднять массы на отчаянную схватку с их угнетателями.

Этот исполненный иронии результат не должен казаться столь уж неожиданным. Как постреволюционный опыт

Восточной Европы, так и внезапно свалившаяся на нас советская революция показывают необоснованность нашего страха перед "экстремистами", которые в этих драмах почти повсеместно укрепили, а не подорвали демократию. При этом уникальную роль в них обрел персонаж, многими воспринимавшийся как всего лишь сочетание несоединимых понятий: либеральный демагог. Эта неправдоподобная политическая фигура впитывает в себя массовое недовольство, фобии и страхи, перерабатывая их в каждодневных усилиях по созданию и укреплению плюралистического конституционного порядка.

Короче говоря, поддержка зачинателей антикоммунистической революции не должна вызываться одним лишь велением сердца (хотя есть в ней и это). Либеральная демагогия действительно помогла демократии выстоять и утвердиться. И пока мы не осознаем, сколь многого ей удалось достигнуть, мы не поймем, в чем нуждается демократия для своих дальнейших успехов, и не сможем помочь ее прогрессу.

1917: История — предупреждение

Разумеется, демагоги способны выступать в качестве могильщиков избранного народом правительства, даже не проявляя к нему открытой враждебности. Не обладая диктаторскими амбициями, они могут до невозможности затруднить защиту демократических институтов от их решительно настроенных противников. Классический пример демагогии этого рода — печальная история Александра Керенского: его неспособность защитить непродолжительный демократический эксперимент России в 1917 г. предупреждает о том, в каком свете нам надлежит оценивать деятельность нынешних реформаторов и революционеров.

Сегодня о Керенском не помнят практически ничего, кроме того, что он проиграл схватку с Лениным. В истории он сохранился всего лишь как незадачливый реформатор, не приспособленный к своему бурному времени. Но в блестящем новом историческом труде Ричарда Пайпса

"Русская революция" Керенский выглядит совсем иначе — "воплощением эмоциональности и импульсивности". На русской политической сцене он был великим постановщиком, его способность воспламенять и подчинять своей воле массы не могла не вызывать уважения. Короче говоря, он был демагогом.

Если риторика и работает иногда в качестве инструмента власти, то Керенский явно переоценивал свои возможности по этой части. Будучи совершенно уверен в своем умении чувствовать общественные настроения и манипулировать ими, он попадал в плен собственных страстных атак против старого порядка. Он ни во что не ставил и даже настраивал против себя тех людей и те институты, которые могли бы оказать ему поддержку именно тогда, когда он больше всего в ней нуждался. Например, в марте 1917 г. Временное правительство поспешно распустило старую провинциальную бюрократию. С точки зрения Пайпса, эта ошибка была "уникальным примером того, как рожденное революцией правительство разрушило старые административные механизмы еще прежде, чем у него появилась возможность заменить их собственной машиной управления".

Но самый большой просчет Керенского заключался в том, что из-за антипатии и пренебрежения к существующим политическим институтам он в конце августа 1917 г. обратил свой гнев на армию в лице военного министра генерала Лавра Корнилова, которого он обвинил в организации антиправительственного заговора. Пайпс очень убедительно показывает, что это знаменитое дело в действительности было фикцией — не только подобного заговора не существовало в природе, но напротив — генералы, включая Корнилова, были готовы сотрудничать с Керенским ради укрепления его позиций. Вряд ли он им нравился, но они надеялись, что он сможет контролировать страну и сохранить ее целостность. (Судя по всему, и они переоценили силу риторики!) Дело Корнилова, вызвав раскол в лагере противников Ленина, проложило дорогу к захвату власти большевиками два с половиной месяца спустя.

Почему же Керенский выступил против тех, кто был готов его поддержать и чья поддержка могла быть для него весьма важной? Корнилов тогда стал героем консерваторов, и, согласно выводу Пайпса, Керенский надеялся, что конфронтация с генералом поможет ему самому "предстать в образе защитника Революции". Это было не что иное как просчет демагога — вступить в схватку с представителем старого режима в надежде заполучить массовые симпатии за счет своих политических соперников.

Керенский видел в политике соревнование за достижение популярности. Отдавая все свои силы борьбе за победу в этой гонке, он упустил из-за этого из виду, что стремление страны к обретению твердого руководства нельзя было удовлетворить одними лишь речами. Чтобы в самом разгаре революции упрочить свою позицию, он должен был — но не смог — предложить какое-то смягчение бремени неуверенности и беспорядка. Добиться этого ему могли бы помочь только те самые институты, которые он пытался ослабить и дискредитировать.

Эта инвектива Керенскому напоминает о типичной критике в адрес сегодняшних революционеров-демократов: они мол слишком упиваются своими речами и великими идеями, но никак не подготовлены к реальному управлению страной. Однако именно потому, что эти характеристики современных демагогов столь широко распространены, имеет смысл принять во внимание и совершенно противоположную оценку Керенского, а именно, что он *не был демагогом в достаточной степени*. Отнюдь не будучи испорчен собственной демагогией, он слишком робко использовал эту созданную им новую форму политической власти.

Не удивительно ли, например, что Керенский, полагаясь на поддержку крестьянской в своей основе партии социалистов-революционеров (эсеров), не имел при этом программы земельной реформы? Вполне возможно, что существовало множество серьезных причин проявлять в этом вопросе умеренность и не торопиться с его постановкой. Радикальная земельная программа добавила

бы еще один фронт в той войне, которую Керенский уже вел; она увеличила бы число его противников и усилила бы общественную нестабильность. Но она показала бы, что Керенский стремится вознаградить тех, кто его поддерживал (чего он не мог сделать иными способами). Деревенские парни, которых было так много среди озлобленных петроградских солдат, могли бы остаться на его стороне.

Точно так же ускорение проведения всеобщих выборов было очевидным способом использовать массовую поддержку, которой за пределами больших городов располагали эсеры, но Керенский предпочитал не спешить. Учредительное собрание позволило бы ему преодолеть двоевластие правительства и советов, которое столь затрудняло управление страной. Однако к тому времени, когда Учредительное собрание было, наконец, созвано, большевики уже захватили власть.

Наконец, Керенскому, чтобы преуспеть, следовало быть более безжалостным по отношению к своим номинальным союзникам на левом полюсе политического спектра. Пайпс вполне убедительно показывает, что после первой (подавленной) попытки большевиков захватить власть, Керенскому нужно было попытаться уничтожить Ленина с помощью широковещательного процесса, отдав его под суд за измену и выложив на стол все свидетельства о получении им германских денег. Но чтобы такая стратегия сработала, требовалось нечто большее нежели простое сотрудничество с системой уголовного судопроизводства. Несмотря на скромное число сторонников большевиков, обезглавливание этой партии вызвало бы глубокий политический кризис, могло спровоцировать жестокие уличные бои, победа в которых даже при помощи армии и полиции зависела бы от того, насколько эффективными оказались бы меры по завоеванию массовой поддержки. Этот кризис стал бы испытанием способности Керенского использовать не только существующие инструменты власти, но и все ресурсы его демагогии.

Мазовецкий против Валенсы

Керенский стал для нас хрестоматийным примером того, как сходящая с рельсов демократическая революция "пожирает своих детей". Однако из его судьбы не удастся вывести никакой морали относительно достоинств умеренности. То же самое верно и применительно к хронике польских политических событий после 1989 г., хотя не было недостатка в попытках вычитать аналогичные уроки из того противоборства, которое год назад раскололо руководство "Солнцдарности". Когда польский премьер-министр Тадеуш Мазовецкий пал жертвой мятежа избирателей, возглавленного нынешним президентом страны Лехом Валенсой, все выглядело так, что симпатичный демократ был сброшен малоприятным демагогом. Последующее поведение этого самого демагога на посту президента, конечно, выставило в несколько смешном виде прогнозы о его скором превращении в диктатора. Однако это тем более заставляет нас вновь присмотреться к случившемуся, поскольку бросает новый свет на то, как может начаться раскол среди творцов антикоммунистической революции.

Несмотря на героическое прошлое Валенсы, были причины с недоверием относиться к его методам борьбы за власть. После того как хороший демократ Мазовецкий вступил в должность летом 1989 г., он очевидным образом делал нужные вещи, предписав больной польской экономике горькое, но необходимое лекарство шоковой терапии. Оно даже уже начало работать, но с ужасными побочными эффектами — безработицей, обесцениванием сбережений населения, резким взлетом цен на такие необходимые товары, как пища и топливо. Это породило массовое беспокойство, чем в собственных интересах и воспользовался вышеупомянутый скверный демагог, потребовавший досрочных президентских выборов и своей безответственной риторикой еще больше возбудивший недовольство большинства поляков. Валенса утверждал, что Мазовецкий позволил слишком большому числу бывших партократов сохранить свои места и не препят-

ствовал им обогащаться в процессе приватизации. Он даже допустил несколько дурно пахнущих оскорбительных намеков в адрес евреев из рядов хороших демократов (состоящих преимущественно из интеллектуалов, журналистов и профессиональной интеллигенции). Подпитывая свою популярность массовым разочарованием и утверждая, что лишь он один сможет все устроить как надо — "с топором", по его собственным словам, — Валенса совершил прыжок в президентское кресло.

Сейчас у всех в памяти негодующие выступления по этому поводу западных комментаторов и авторов редакционных статей: победа Валенсы якобы показала наличие у восточноевропейских революций весьма темных оборотных сторон. Эти революции позволили выйти на поверхность многим отталкивающим додемократическим нравам — склонности к принятию личной власти, параноидальным поискам внутренних врагов и т.п. Не менее важно, что отторжение Мазовецкого продемонстрировало неспособность институтов представительной демократии справиться с экономическим крахом. К этим обвинениям присоединились даже эксперты, в общем-то симпатизировавшие Валенсе. Тимоти Гартен Аш в опубликованной в "New York Review of Books" статье высказал предположение, что сам выбор Валенсой основных тем его предвыборной риторики отражал вполне продуманное суждение относительно способа перехода к демократии: любой польский лидер, неспособный дать населению более высокий уровень жизни, должен быть готов в любое время уступить кровавым инстинктам толпы, предлагая ей на блюде головы коммунистов (разумеется, фигурально — в Польше не было казней). Аш удачно назвал такой подход "тактикой Саломеи".

Несмотря на остроумность этого описания, оно неверно трактует суть проблемы, которая состоит не в том, как отвлечь людей от тягот реформы, но скорее в том, как эти тяготы объяснить. Лишения можно адекватно рационализировать только в качестве части программы, реализующей цели революции. Руководители, пытающиеся сохранить массовую поддержку во время перехода к де-

мократии, должны доказать, что происходит подлинная, а не половинчатая революция, и что в конце революционного процесса страна не обнаружит с изумлением, что важные места по-прежнему занимают те же самые служители старого режима. Именно поэтому антикоммунистическая риторика стала для Валенсы важнейшим источником легитимности его претензий на власть. Презирующие ее интеллектуалы из среднего класса имеют мало шансов убедить народ, что революция будет доведена до ее закономерного конца — напротив, они могут даже вызвать разочарование в самом демократическом правительстве. Если именно к этому ведет столь ценная ими "умеренность", то кого же тогда считать подлинными могильщиками демократии?

Отправленная в отставку умеренность уступила дорогу в Польше более жесткой разновидности антикоммунизма, но сама демократия не отступила ни на йоту. Напротив, в 1917 г. в России ошибки Керенского проложили путь антилиберализму. Но основное содержание событий, коллапс центристского реформизма в обоих случаях было одним и тем же. Пятьдесят лет назад это стало центральной темой исследования Крейна Бринтона "Анатомия революции", которое и сегодня остается одним из лучших объяснений слабости людей, подобных Керенскому и Мазовецкому, в ситуации развивающейся революции. Анализируя английскую, американскую, французскую и русскую революции, Бринтон обнаружил, что в каждом случае первая волна умеренных реформаторов получала шанс на переделку старого режима, причем почти всегда они реагировали на эту возможность одним и тем же образом, "приступая к делу во вполне естественной для себя манере и культивируя воздержанность и иные подобные достоинства как лучшие спутники власти. Но преклонение перед этими достоинствами как раз и лишало их возможности возглавить воинствующие революционные общества".

Умеренные демонстрировали и еще более опасную слабость, которую им не удавалось скрыть от масс, — недостаток убежденности. Как пишет Бринтон, во время

французской и английской революций умеренные "высокопарно произносили великие слова и великолепные призывы на радость и утешение себе и своим слушателям. Но их вере в эти призывы не хватало страстности радикалов. Они не были готовы практическими действиями довести свои лозунги до логического конца". В этих словах — на удивление современное описание того, что мы сегодня назвали бы проблемой кредита доверия к умеренным реформаторам во всех странах бывшей советской империи. Оно полностью относится и к довольно-таки вялой избирательной кампании Мазовецкого, которую тот проводил в духе прошлого столетия, покидая свой кабинет только для субботних и воскресных речей.

В ретроспективе слабая защита Мазовецким себя и своей политики выглядит достойной оправдания лишь в том случае, если мы приходим к выводу, что будущему польской демократии на деле ничто не угрожало. Будь Валенса действительно рвущимся к власти тираном, готовность Мазовецкого обречь на поражение честных демократов ради засидевшихся в своих креслах коммунистов и впрямь выглядела бы полнейшим абсурдом. Проведя всю свою жизнь в оппозиции, он вряд ли мог видеть свой долг в том, чтобы дать былой номенклатуре пристойные отставки и хорошие пенсии.

Реакция Мазовецкого на антисемитские выпады была почти столь же загадочным примером самоограничения. Он отказывался удаивать ответами все инсинуации, намекающие на его частичное еврейство. Презируя очевидные возможности парировать атаки Валенсы собственными ударами (скажем, как смеет Валенса так пятнать грязью польские выборы); или: все это показывает, что в душе Валенса никакой не демократ! или: посмотрите, как он уклоняется от предложения реальной экономической программы!), Мазовецкий попросту хранил молчание. Для многих это выглядело проявлением изумительного достоинства, едва ли не святости. Но это восхищение в значительной степени покоится на не слишком серьезном отношении к угрозе валенсовского антисемитизма. Если бы соперник Мазовецкого и в самом деле был

столь зловещей фигурой, то его собственное равнодушие выглядело бы скорее признаком бессилия, а не символом достоинства.

Конечно, Валенса, чтобы защитить себя полностью, должен был доказать нечто большее, нежели то, что его кампания самовозвеличения никому не нанесет реального вреда. Он должен был утверждать, что польская демократия нуждалась в более способном защитнике, чтобы обезопасить себя не от людей типа Леха Валенсы, но от претендентов на власть иного рода, которые могли уже не иметь вообще ничего общего с демократией. Похоже, результаты выборов подтвердили его правоту. Мазовецкий создал своими действиями такую угрозу переходу к демократии, что на деле он получил меньше голосов, чем загадочный Станислав Тыминьский, ранее почти никому не известный перуанско-канадский бизнесмен-спиритуалист, которого многие считали тайным агентом секретной полиции. Как всегда говорили сами коммунисты, революция должна быть способной защищать себя. Этой способности Мазовецкий не проявил.

Посткоммунистическая Восточная Европа

После 1989 г. выбор, подобный выбору между Мазовецким и Валенсой, во множестве различных форм присутствовал почти в каждой восточноевропейской стране: выбор между сохранением опоры на старые институты как на мосты между прошлым и будущим и полным отказом от этого прошлого, приводящим к максимально быстрому ниспровержению коммунистического порядка. Кем считать представителей старой гвардии — потенциальными партнерами или преступниками? И, самое главное, какая стратегия может дать больше для укрепления новых демократических институтов?

Ответ, по крайней мере, на первый из этих вопросов совершенно ясен. По всей Восточной Европе опору потеряли как раз те правительства, которые пытались проводить тактику институциональной непрерывности и национального консенсуса — им либо пришлось перейти к

более радикальной политике, либо уступить дорогу соперникам. Это верно даже по отношению к Чехословакии, где коммунисты потеряли власть во время так называемой нежной революции — этому лозунгу придавался тот смысл, что случившееся потрясение должно было стать почти незаметным и, безусловно, не болезненным. Обычные для революции эксцессы подлежали предотвращению методами убеждения, апеллирующей к тому обстоятельству, что каждый житель Чехословакии в той или иной степени был причастен к делам прежнего режима — именно это попытался сделать президент Вацлав Гавел в своем послании по случаю наступления 1990 г. Согласно той же логике, для каждого должно было найтись место в новом порядке, в основе которого должен был лежать всеобъемлющий принцип общей "культуры".

Личный престиж Гавела был столь велик, что, казалось, эта формула имела шансы на успех. И, тем не менее, вскоре стало ясно, что отнюдь не все чехи были готовы принять этот тезис о всеобщей вине. Они хотели зримого подтверждения реальности революции — "нежной" или какой-либо другой. Через несколько месяцев правительство Гавела было вынуждено объявить о начале расследования деятельности старой коммунистической верхушки и судов над нею. Важность этого отступления от прежних принципов состояла не в том, что оно показало, что чехословацкая революция имеет ряд общих черт с другими революциями, но в том, что иначе легитимность нового порядка была бы подорвана.

Если в Чехословакии перспектива безболезненной демократической революции была максимальной по сравнению с другими странами Восточной Европы, то шансы Болгарии на самоуправление любого рода казались крайне незначительными. Когда повсюду уже рушились коммунистические режимы, на Западе все еще считали, что болгары столь мало знали об окружающем мире и обладали столь слабыми демократическими традициями, что коммунистическая партия в этой стране могла сохранять на конституционной основе свое правление до бесконечности. Эти ожидания получили подтверж-

дение: на выборах весной 1990 г. коммунисты вышли на первое место и после того, как союз либеральных партий отверг идею коалиции национального единства, сформировали свое собственное правительство. Такая коалиция, как считали либералы, могла бы только легитимизировать идею сохранения коммунистического лидерства. Ожидая подходящего момента для атаки на правительство, оппозиция организовала единственную в истории коммунистического или посткоммунистического мира успешную всеобщую забастовку. В ноябре правительство пало, а через месяц был сформирован новый кабинет с некоммунистическим премьер-министром. Отказавшись идти на компромисс и проводя стратегию конфронтации, либералы заставили коммунистов согласиться на роль их младшего и к тому же теряющего влияние партнера.

Горбачев и демагоги

Самым длительным случаем конфронтации между умеренным реформизмом и радикальной демагогией было продолжавшееся до августа 1991 г. противостояние Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. На протяжении полутора лет они попеременно были то противниками (весной и в начале лета 1990 г.), то союзниками (в конце лета и в начале осени того же года), то опять соперниками (с конца 1990 г. до апреля 1991 г.), то, наконец, вновь соратниками (вплоть до антигорбачевского заговора в августе 1991 г. и после него). Однако, даже работая вместе, они в течение всего этого времени стояли на совершенно различных позициях в вопросе о том, в каких изменениях нуждается советская система, и недавний заговор отнюдь не сделал эти разногласия менее серьезными или менее острыми. Ельцин, с точки зрения типичного умеренного реформатора, повинен в том, что, чрезмерно пережимая и слишком много беря на себя, он на деле спровоцировал консерваторов на их выступление. Напротив, если судить с позиций радикального демагога, контрреволюцию вызвал Горбачев — тем, что не отстранил полностью от власти охранителей старого режима, когда имел для этого возмож-

ность; иначе говоря, Горбачев сделал слишком мало.

Несомненно, в критические моменты само выживание умеренных реформ зависело от поддержки демагогии. Прошлой зимой Ельцин успешно заблокировал поворот Горбачева вправо, причем ключевым фактором этой его победы было осознание того, что мобилизация общественного мнения была в данном случае единственно возможным методом борьбы. Это уже было нечто новое: вплоть до конца 1990 г. советские либералы осмеливались лишь на камерные выступления против Горбачева: идея организации массового выступления против него воспринималась оппозицией с большой настороженностью. Неясно было, в конце концов, какова будет реакция народа. (Эти колебания нетрудно понять: до 1991 г. в Москве не было ни одной крупной политической демонстрации, направленной персонально против Горбачева. Несмотря на всю перестроечную закваску, мощные городские толпы, осуществившие восточноевропейские революции, еще не стали тогда элементом советской политической сцены. Студенческие демонстрации в Киеве осенью 1990 г., вынудившие подать в отставку главу украинского правительства, были исключением из этого правила и не сразу стали образцом для развития событий в других местах.)

На фоне всех этих колебаний Ельцин и выступил в защиту политической конфронтации. Это проявилось уже в его выступлении перед российским парламентом в декабре 1990 г., когда он напомнил депутатам, что народ их избрал не для того, чтобы они ремонтировали осыпающийся фасад старого строя. Чем дальше вправо двигался Горбачев, тем более радикальной делалась позиция Ельцина. В экономике он поддержал частную собственность на землю; в вопросе об отделении он выступил против Москвы вместе с прибалтийскими республиками, а что касается армии, он предложил русским солдатам не подчиняться приказам открывать огонь по мирному населению и заявил о возможности создания независимых военных формирований Российской республики. Позиция по отношению к Горбачеву проявилась в выступлении Ельцина в феврале по советскому телевидению

с призывом к отставке президента. Месяцем позже он добился поддержки подавляющего большинства населения России в вопросе о введении поста избираемого на всеобщих выборах президента республики — с явным намерением занять его самому.

Даже многим коллегам Ельцина, не говоря уж о его критиках, казалось, что он впал в популистское неистовство.¹ Бывший в то время его заместителем в парламенте России Руслан Хасбулатов недавно сказал, что призыв Ельцина к отставке Горбачева вызвал у него особые сомнения, и лишь позднее он понял, что эта акция была необходимой. Провоцировать армию казалось еще более рискованным занятием. Нужно вернуться к делу Корнилова, чтобы найти в русской истории пример сравнимого вызова армии со стороны политика, не имеющего реальной возможности довести этот вызов до конца — и в Советском Союзе знают, чем вся эта история в итоге обернулась.

Однако в апреле Горбачев дрогнул. Он стал добиваться перемирия с Ельциным в форме договора, подписанного руководителями девяти не заявивших об отделении республик. Эта формула, так называемое соглашение "9 + 1", легла в основу нового раунда сотрудничества между обоими лидерами. Мы можем никогда не узнать истинных чувств Горбачева относительно этого его отступления — разочаровался ли он постепенно в зимнем наступлении правых сил из-за его неуспеха или потому, что оно вступило в противоречие с его долговременными реформистскими планами? Ответ на этот вопрос важен для вынесения окончательного исторического приговора Горбачеву, но он почти никак не влияет на анализ факторов, обусловивших неудачу этого наступления. Независимо от того, был ли Горбачев убежден в необходимости поворота вправо или пошел на него с большими колебаниями, причина его отказа от политики репрессий была одной и той же: успешная демагогия Бориса Ельцина.

Кампания политической конфронтации спасла "хорошего" Горбачева от "плохого". Ответ первого состоял теперь в том, что время, отпущенное либеральной

демагогии, уже истекло, и что недостаток единства мог бы лишь затруднить движение по пути реформ. Излюбленными темами речей Горбачева стали необходимость того, что он называл "гражданским согласием", и опасность раскола страны на "красных и белых", коммунистов и антикоммунистов. 25 июля 1991 г., во время своего последнего перед путчем выступления на пленуме ЦК КПСС, он даже зашел настолько далеко, что предупредил либералов против действий, которые могли бы спровоцировать партию на новые репрессивные меры, подчеркнув, что общество теперь нуждается совсем в другом — в умеренности эмоций.

Этот призыв к национальному единству совершенно очевидно имел сторонников и в лагере Ельцина. Один из его советников Олег Румянцев в таких выражениях описывал новую позицию своего шефа: "Антикоммунистическая истерия ушла в прошлое, на смену ей пришла установка на компетентность и надежность вне зависимости от партийного членства."² Перспектива сотрудничества между умеренными и радикалами была еще более упрочена отходом от Горбачева его прежних главных помощников Эдуарда Шеварднадзе и Александра Яковлева, объявивших 1 июля о создании полуоппозиционной группы, получившей название Движения демократических реформ. Они заявили, что только единство демократов создаст реалистическую перспективу успеха; хотя точные условия предложенного ими единства были неясны, основная идея выглядела совершенно четкой. Она состояла в формировании как можно более широкой коалиции с игнорированием тех внутренних расхождений, которые не связаны непосредственно с этой задачей. Горбачев высказал намерение работать совместно с этой новой организацией, что явствует из характеристики, данной им КПСС в связи с ее обновленной программой — "партия демократических реформ".

Несмотря на все это, радикалов и умеренных по-прежнему разделяли фундаментальные разногласия. На них имеет смысл остановиться подробнее, чтобы понять, в чем состоял вклад каждой стратегии в демократизацию советской системы.

Упрек умеренных

Сторонники умеренной линии могли предложить вполне практические аргументы: продолжение движения к демократии зависит от гибкости и реализма. Утверждалось, что победы радикалов на выборах заставляют их нести свою долю ответственности за эффективность действий правительства и охлаждение общественных надежд на какое-либо немедленное улучшение. Поскольку рано или поздно радикалам придется отвечать за предвыборные обещания, им необходимо преодолеть свой жесткий идеализм и неспособность идти на компромиссы — то, что Александр Яковлев в прошлом году пренебрежительно назвал в своей статье в "Московских новостях" комплексом курсистки и (если привести еще одну бранную фразу) доведенным до психоза нормативным подходом.³ Если бы радикалы оставались абсолютистами в морали и политике, они бы только возбудили ожидания, которые невозможно удовлетворить, что, в свою очередь, ограничило бы их политические возможности в будущем. Массы должны понять, что переход к рыночной экономике влечет за собой неизбежные лишения; в противном случае они отказались бы примириться с тяготами, когда для этого настало бы время.

Эти доводы имели свою логику, но основывались на искаженной картине советских политических реалий. Главное препятствие на пути к экономической реформе состояло отнюдь не в том, что приняла бы публика (и это показали результаты голосования); оно крылось в том, что принял бы сам Горбачев. Пока он настаивал на необходимости компромисса между моделями реформы, предложенными сторонниками рыночной экономики и окружающими его консервативными бюрократами, либералы оставались в выигрыше от нежелания идти на соглашение с президентом. Когда Горбачеву в конце лета 1990 г. был предложен выбор между планом Шаталина-Явлинского "500 дней" и программой тогдашнего председателя совета министров Николая Рыжкова, его вердикт был таков: объедините их! Когда ранним летом 1991 г. Горбачев был поставлен перед аналогичным выбором между модер-

низированным планом Явлинского и так называемой антикризисной программой премьер-министра Валентина Павлова, он дал тот же самый совет: объедините оба подхода.

Поскольку горбачевский премьер-министр всегда имел возможность наложить вето на любые предложения относительно быстрого перехода к рынку, либералы, что было правильно, стремились акцентировать свои расхождения с правительством. Они ничего бы не выиграли от поддержки интенсивно обсуждавшихся программ, в успех или необратимость которых они сами не верили. Если бы Ельцин, например, помог в 1990 г. составить какой-то компромиссный вариант плана "500 дней", то его сочли бы по меньшей мере частично ответственным за экономический коллапс следующего года. Негативные последствия этого отнюдь не свелись бы только к его личному ущербу. У публики появились бы причины прийти к выводу, что от болезненного перехода к рыночной экономике на деле осталась одна боль и никакого перехода. Аналогично, консерваторы смогли бы с куда большей легкостью утверждать, что все планы маркетизации в равной мере неработоспособны. Такие умеренные как Яковлев и Шеварднадзе потому и начали радикализировать свои экономические программы в 1991 г., что годом раньше так и не появилось ни одного успешного компромиссного плана.

Советские умеренные, браня своих радикальных коллег за политическую близорукость, этим не ограничились. Критикуя долговременные последствия демагогического стиля радикальных политиков, они отмечали, что игра на массовом недовольстве может временно приносить неплохие дивиденды, но со вступлением в нее других, не столь принципиальных участников, картина имеет все шансы измениться. Перегретая политическая атмосфера дает антилиберальным демагогам ранее невозможные для них шансы. Именно поэтому умеренные реформаторы начали выражать открытое беспокойство ростом влияния политических "спекулянтов", создающих для них возможность переиграть своих более ответственных конкурентов. Суть послания умеренных реформаторов радикалам можно выразить так: толпа вас породила, толпа

вас и убьет. В июле Шеварднадзе предупредил (и это мнение было очень типичным), что если реформаторам не удастся объединиться, углубляющийся общественный кризис выведет на гребень советской внутренней политики какие-то совершенно неизвестные силы.

Этот прогноз, подобно многому другому, отражал растущую политическую изоляцию умеренных реформаторов, но фактам он соответствовал, в лучшем случае, приблизительно. Результаты выборов двух последних лет не подтвердили опасений, что рассерженные люди поддержат самых сердитых кандидатов. Достаточно сказать, что на парламентских выборах 1990 г. крайние русские националисты получили очень низкие отметки. На выборах президента России в июне 1991 г. явный демагог Владимир Жириновский, пытавшийся одновременно играть на национализме и экономических затруднениях, получил менее 8% голосов. Даже если этот результат мог вызвать, как считали некоторые, определенное беспокойство, то покрепче подумать о его последствиях следовало скорее умеренным, нежели радикалам, поскольку именно они больше всех пострадали от конкуренции Жириновского. Бывший министр внутренних дел Вадим Бакагин, единственный кандидат, действительно заслуживающий звания умеренного реформатора, получил на выборах самые разочаровывающие результаты. Из всех претендентов он в наибольшей степени отождествлял свою программу с реформами Горбачева и считался его фаворитом в избирательной гонке. Бакагин получил лишь 3% голосов, Ельцин же 57%.

Таким образом, именно умеренные продемонстрировали наибольшую незащищенность по отношению к напору антилиберальных демагогов. Ельцин же по сравнению с ними был неуязвимым: ему не грозили помехи со стороны агрессивных кандидатов-шовинистов, сулящих снижение цен на водку, до тех пор пока он держал в своих руках самое могущественное демагогическое оружие советской внутренней политики — антикоммунизм. Президентские выборы в Польше, разумеется, продемонстрировали в точности то же самое: жертвой Тыминьского

оказался не Валенса, а Мазовецкий. В обоих случаях жертвой толпы оказался тот самый политик, который не был ее детищем.⁴

Непрерывность и путчи

Возможно, важнейшее различие между умеренными и радикалами проявилось в их отношении к партийной и государственной бюрократии. Былая робость умеренных в этом вопросе сделала их позиции особенно непрочными. Например, среди людей, к мнениям которых прислушивался Горбачев на протяжении всех шести лет перестройки, последовательнее всех либеральные взгляды выражал Александр Яковлев, публичные выступления которого содержат определенные намеки на то, какую меру постепенности он мог рекомендовать Горбачеву в частных беседах. Всего лишь в 1990 г. он упрекал радикалов за их одержимость идеей слома бюрократии — с его точки зрения, не было никакого смысла в том, чтобы продолжать считать всю систему управления и администрации деспотической только потому, что она была таковой в прошлом. В конце концов, напомнил он, демократия бессила без высококвалифицированных профессиональных управленческих кадров. В этом плане слова Яковлева перекликаются с высказываниями Мазовецкого (и с замечаниями Пайпса о Керенском): для улучшения ситуации неумеренные дилетанты от политики должны отойти в сторону, а их место надлежит занять профессионалам. Реформаторы, по мнению Яковлева (и здесь четко проглядывает пораженчество умеренных), должны осознать как чисто практическую истину, что разрушить аппарат попросту невозможно.

Ельцин совершенно четко показал свое отношение к этим аргументам, издав 20 июля 1991 г. указ о роспуске всех местных организаций КПСС во всех государственных учреждениях, расположенных на территории Российской республики, включая промышленные предприятия — согласно официальной формулировке, с целью предотвращения их вмешательства в деятельность

государственных органов. Поставив свое имя под таким документом как раз в тот момент, когда стали приносить плоды его переговоры с Горбачевым о союзном договоре, Ельцин показал, что он не позволит сотрудничеству в одной области уменьшать его престиж самого последовательного и эффективного во всей стране могильщика бюрократов и партийных функционеров. Риторика, посредством которой он защищал свои действия, демонстрировала подлинный боевой дух, равно как и понимание того обстоятельства, что с их помощью он приобрел такой кредит политического доверия, которым он не мог себе позволить пожертвовать. "Пора вам перестать тормозить наши реформы, — сказал он группе твердолобых консерваторов. — Те, кто стоит на пути реформ, должны уйти".⁵

Указ от 20 июля показал намерение Ельцина увеличить, а не ослабить свое давление на Горбачева с целью проведения в жизнь радикальной программы. Нанося удар по партийному аппарату, он выбрал тот вопрос, по которому Горбачев издавна колебался, а настроения масс были хорошо известны. Ельцин показал и то, что он в состоянии заставить других не определившихся реформаторов стать, наконец, на ту или другую сторону. Горбачев отреагировал на это, вновь встав во главе реакционеров и пообещав им аннулировать указ Ельцина своим постановлением. В противоположность этому Шеварднадзе и Яковлев опубликовали заявление в поддержку Ельцина — обстановка вынудила их занять позиции более радикальные, чем они, вероятно, сами ожидали. До того Яковлев говорил, что их новое движение не будет конфронтационным. Ельцин вынудил его пересмотреть этот тезис.

Партийный аппарат был одновременно и всемогущим, и весьма уязвимым — великолепной мишенью для атаки антикоммунистических демагогов. Новое положение радикалов в правительстве отнюдь не означало, с их точки зрения, что они должны сотрудничать с бюрократией — для них дело обстояло совершенно иначе: с бюрократией следовало бороться. Они считали, что в противном случае они станут всего лишь номинальными руководителями, обладающими "популярностью без власти", как

выразился один советский комментатор. Все еще сохранявшееся влияние аппарата занимало огромное место в мыслях новоизбранных либеральных лидеров. Ленинградский мэр Анатолий Собчак, вряд ли радикал по темпераменту, сравнил непрочность позиции демократов с проблемами Николая II: последний царь был не в состоянии запретить своим сановникам действовать в такой манере, которая сделала царизм невыносимым бременем для его подданных. Не обладая властью контролировать бюрократию, царь внес свою лепту в то, что страна пала добычей большевизма. Это, сказал Собчак, "урок для демократа, который, заняв пост главы города, республики или даже всей страны, действует в нерешительной манере. Система может искусно подтолкнуть его к принятию решений, способных привести к катастрофе. Система может и сама принять решение за спиной бесхребетного или легковверного руководителя. Дело в том, что она заботится отнюдь не об общественном благе,.... а лишь о сохранении собственного богатства. Это поистине машина и, подобно любой мыслящей машине, она античеловечна. Бог, человек, кровь, совесть, стыд — все это она отказывается принимать. Система способна спровоцировать за спиной демократа-реформатора кровавую баню, и у него не будет ни малейшей возможности смыть с себя пролитую кровь и доказать свою непричастность".⁶

Убеждение советских либералов в том, что их действия саботируются и будут саботироваться старым аппаратом, сделало для них совершенно несущественными все теоретические преимущества институциональной непрерывности. Тот факт, что это обстоятельство не признавалось Горбачевым, был для них просто свидетельством бесплодности того типа умеренности, который Горбачев исповедовал.

Очевиднее всего эта бесплодность просматривалась в отношении Горбачева к тем самым институтам старого порядка, которые представляли величайшую потенциальную угрозу реформам: армии и силам безопасности. Руководители этих институтов задолго до августа 1991 г. не скрывали своей оппозиции к политике Горбачева — она

проявлялась и на их частных встречах, и в резких публичных заявлениях, и в экстравагантной попытке в июне 1991 г. лишить Горбачева части его прерогатив посредством парламентского голосования. И все же он не предпринимал против участников направленного против него заговора никаких видимых мер. Он комментировал происходящее в шутливых тонах и даже пытался публично (впрочем, малоубедительно) оправдать его инициаторов.⁷

Горбачев слишком буквально усвоил урок, вытекающий из ошибки Керенского: сохраняйте на своей стороне существующие государственные институты, поскольку реально значима только сила, а не популярность. Но эта стратегия была обречена на провал. Когда капитаны старого порядка повернулись против него, единственным оплотом Горбачева стала популярность другого человека.

Ельцин, со своей стороны, опасался слишком давить на военных и стремился показать свою готовность установить с ними какие-то рабочие отношения: он взял "министром обороны" заместителя начальника генштаба; выбрал своим кандидатом в вице-президенты увешанного наградами ветерана афганской войны; выработал с союзным КГБ соглашение о разделе полномочий между ним и своим собственным правительством. Чтобы избежать дополнительной конфронтации, Ельцин предпочел не применять свой указ от 20 июля к армейским партийным организациям, согласившись, что этот вопрос подлежит рассмотрению Верховным Советом Советского Союза.

Для Горбачева умиротворение генералов было стратегией, для Ельцина — не более чем тактикой. Это умиротворение могло помочь снятию напряженности в отношениях между российским президентом и военными, но обеспечивало куда более слабую защиту от путча, чем более широкая стратегия Ельцина по возвращению массовой поддержки. Не исключено, что колебания руководителей августовского мятежа относительно ареста Ельцина (при том, что они не остановились перед задержанием Горбачева) были как раз признанием того, чего ему удалось добиться: он стал слишком могущественным, чтобы его можно было тронуть. Это было, конечно,

только первой их ошибкой — они также переоценили свою способность контролировать институты, номинально находившиеся под их командой. Когда демагогическая власть столкнулась на улицах Москвы с властью институциональной, советское государство распалось.

Итогом этих нескольких дней стал разгром старого порядка, куда более решительный, чем если бы выступление консерваторов не состоялось. Забавно, что это в точности соответствовало прогнозу, полученному ими всего за несколько недель до мятежа. На июльской сессии ЦК КПСС тогдашний председатель Верховного Совета СССР и многолетний друг Горбачева Анатолий Лукьянов призвал это собрание даже не думать о его смещении с поста руководителя партии: ведь если бы президент СССР оставил пост генерального секретаря ЦК КПСС, коммунисты по всей стране остались бы беззащитными против избранных в советы разных уровней демократов. В результате этого, сказал Лукьянов, произошло бы нечто ужасное: разгром партийных организаций. Сегодня эти слова звучат особенно впечатляюще.⁸

Таким образом, перспектива встретиться лицом к лицу с настроенными по-боевому и ненавидящими коммунистов радикалами дала Горбачеву и его сторонникам в предшествовавший мятежу период дополнительные аргументы против рвущихся в битву сторонников жесткой линии. Когда путч все же произошел, последние были разбиты, так как советская демократия к тому времени уже приобрела массовую базу, которую никогда не мог или не желал иметь Горбачев. В конечном счете, и зимняя эскапада Горбачева, и августовский мятеж консерваторов говорят об одном и том же: умеренные реформаторы не могли выжить без поддержки радикальных демагогов.

По-видимому, события 1991 г. покончили с одной из нелепых идей, постоянно циркулировавших при обсуждении советских дел — так называемой моделью Пиночета. Было модно проводить сравнения между Советским Союзом и другими странами, включая Чили и Южную Корею, где прорыв к демократии произошел через канал военного правления, под зонтиком которого оформился

капиталистический средний класс и ушли в прошлое ранее непримиримые внутренние конфликты. Сторонники этого неавторитаристского сценария из западных и советских аналитиков настаивали, что в Советском Союзе только весьма репрессивный режим может быть достаточно сильным, чтобы справиться с социальной напряженностью порожденной быстрым переходом к рынку.⁹

И колебания самого Горбачева в сторону принятия жесткой линии, и особенно августовский путч поставили эту схему перед очень нелегкой проблемой: как раз те самые институты, которые только и могли реализовать ее на практике, не проявили ни малейшего интереса к достижению того либерального результата, к которому стремились авторы этой концепции. В то же самое время мобилизация радикальных сил показала, что либерализм был совсем не таким слабым, каким его считали поклонники неавторитаристского подхода. Сумев поднять массы, Ельцин и его сторонники продемонстрировали, что и советский либерализм, подобно его восточноевропейским аналогам, обладал достаточной силой для защиты своей политики. Это было еще одним напоминанием о том, что во время революции сила не является единственной формой власти.

Антилиберальные демагоги

Каждый кто начинает превозносить либеральных демагогов, рискует выглядеть трубадуром демагогов всех сортов и оттенков, что было бы серьезной ошибкой при анализе проблем Советского Союза и Восточной Европы. Основную роль в процессе усиливающегося распада Югославии сыграл персонально президент Сербии Слободан Милошевич, кого в контексте данной статьи можно назвать антилиберальным демагогом. После обретения контроля над Коммунистической партией Сербии в 1987 г. он преуспел в придании ей глубоко националистической окраски, а в декабре 1990 г. смог одержать решительную победу на республиканских президентских выборах. Утверждая, что Тито создал югославскую федерацию в зна-

чительной степени за счет Сербии, Милошевич быстро поставил под контроль Сербии две ранее автономные провинции — Косово и Воеводину, а потом сыграл роль застрельщика в развязывании сербскими военными частями кровавой войны против Хорватии.

Отличительная черта югославского отречения от коммунизма в сравнении с другими восточноевропейскими революциями состоит как раз в том, что оно было достигнуто без какой-либо реальной роли антикоммунизма — страна прямоком двинулась от децентрализирующего реформизма к раскалывающему ее на части национализму. Недовольство компартией не было настолько сильным, чтобы ее бывшие лидеры не смогли стать героями националистического подъема не только в Сербии, но и в Словении — наиболее вестернизированной из всех югославских республик. В конце концов умеренные реформаторы, прежде всего премьер-министр федерального правительства Ант Маркович, сделались беспомощными наблюдателями национальных конфликтов, распространение которых они были бессильны остановить.

Отсутствие в югославской внутренней политике антикоммунистической компоненты может выглядеть всего лишь курьезом, но на деле здесь кроется нечто большее. Это обстоятельство означает, что оппозиция старому порядку с самого начала была скорее национальной, нежели идеологической. Иными словами, в Югославии не было либеральных демагогов — не было политиков, способных поднять массы в поддержку идеи сохранения целостности страны на демократической основе. Сама возможность их появления предотвращалась в течение многих лет — сперва кажущимся успехом умеренных реформ, а затем этническим партикуляризмом. В итоге на выборах 1990 г. единственным серьезным конкурентом Милошевичу оказался еще один сербский националист. Когда весной 1991 г. власти использовали в Белграде вооруженную силу для разгона мирных демонстраций, взрыв антикоммунистического возмущения вселил надежду, что и в Югославии либерализм имеет своих сторонников. Но ни один из действующих политиков не ока-

зался в состоянии использовать (возможно, даже понять) эту внезапно открывшуюся возможность. Милошевич столь успешно сформулировал заново сербскую политику в национальных терминах, что в итоге общественные интересы быстро сосредоточились на конфликте со Словенией и Хорватией.

Ужасы югославской трагедии могут выглядеть как предвосхищение того, что может произойти в Советском Союзе. Развитие событий в некоторых нерусских республиках поразительно напоминает югославский образец, в особенности использование национальных меньшинств в качестве заложников в делающихся все более жестокими вооруженных столкновениях. Самый яркий пример этого дает Грузия, президент которой Звиад Гамсахурдия обвинил Москву в снабжении оружием осетин с целью провокации в Грузии гражданской войны и блокирования ее движения к независимости. Осетины он назвал пришлым народом и угрожал им, и другим национальным меньшинствам депортацией. В других местах Советского Союза национальные меньшинства тоже оказывались подходящим материалом в руках внешних манипуляторов. Так, в балтийских республиках демонстрации и забастовки определенных групп русского населения получали организованную поддержку с находящихся там советских военных баз. Имевшие якобы место покушения на права русских выставлялись в качестве предлогов для оправдания действий военных в Литве и Латвии в январе 1991 г.

В этих конфликтах сепаратистские лидеры смогли обеспечить себе сильную массовую поддержку призывами к такой же бескомпромиссной битве с Москвой, какую Москва всегда вела с ними. Гамсахурдия (риторический стиль которого отлично иллюстрируется такими характерными образцами красноречия, как его призывы выжечь из грузинской нации каленым железом всех коммунистов) получил на весенних выборах 1991 г. 86% голосов избирателей. Его критики обвиняли Гамсахурдию во введении цензуры и раздувании культа собственной личности.

Эти примеры демонстрируют два типа антилиберальных демагогов: коммунистов, ради собственного политического выживания ставших националистами, и националистов,

по тем же мотивам вынужденных бороться с коммунистами. Результаты в обоих случаях примерно одинаковы, что на деле и привело многих к заключению о неустрашимой антилиберальности национализма. Сам президент Буш близко подошел к выражению этой точки зрения, когда 1 августа 1991 г. указал украинскому парламенту на угрозу свободе, содержащуюся в "самоубийственном национализме, основанном на национальной ненависти". Для таких речей не было худшего места, чем Киев; в них содержался (неважно, преднамеренный или нет) в высшей степени несправедливый намек в адрес украинского оппозиционного движения Рух. На деле это движение подтверждает тезис, что антикоммунизм создает внутри национализма тенденции к его либерализации. Рух яростно враждебен Москве, но по отношению к национальным меньшинствам Украины его политика может служить образцом терпимости — и это в контексте культуры, где терпимость отнюдь не имеет прочных корней. Трудно избежать вывода, что Буш игнорировал умеренный национализм Руха прежде всего потому, что счел экстремистской главную цель этого движения — достижение независимости Украины. Но, как ни парадоксально это может выглядеть, обе составные части программы Руха — его сепаратизм и его апелляция ко всем национальным группам украинского населения — на деле усиливают друг друга. Терпимость помогает нейтрализовать все попытки "империи" использовать неукраинские меньшинства в качестве рычагов политического контроля, а антикоммунизм способствует формированию национального самосознания, способного объединить представителей различных национальных групп. Если Украина будет успешно развиваться по направлению к демократии, то похоже, что это будет в немалой степени заслугой либеральных демагогов **националистической ориентации.**

Защита свободы

Почти тридцать лет назад один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов привел в ужас политическую

аудиторию страны заявлением о добродетельности экстремизма во имя защиты свободы. Реакция на это замечание содержала столько же притворства, сколько искренних чувств шокированных им людей, но основное возражение было достаточно рациональным: экстремизм ослабляет тот глубинный консенсус, в котором столь нуждается работающая демократия. Проигравшим становится слишком трудно принять поражение, а победители могут слишком легко злоупотреблять своими преимуществами.

Это возражение вряд ли может столь же обоснованно прилагаться к обществам, пытающимся сокрушить тоталитарные институты и впервые создать у себя работоспособную демократию. Осуществляя такую революцию, либеральные антикоммунистические демагоги помогают решить три проблемы, с которыми умеренный реформизм обычно сам справиться не в состоянии. Он завоевывает и сохраняет массовую поддержку, давая людям, которых призывают терпеть серьезные материальные лишения, основания верить, что происходящие перемены не будут скомпрометированы настолько, что это уничтожит всякие их шансы на успех. Либерализм служит также реальным предупреждением охранителям старого порядка, которые иначе могут решить, что с революцией можно покончить посредством бюрократического саботажа, дезинформации и насилия. Наконец, либерализм дает новым демократическим лидерам прочную легитимность, позволяющую им противостоять конкурирующим с ними демагогам, ищущим власти ради отнюдь не либеральных целей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О том же говорили и некоторые зарубежные эксперты. 28 мая 1991 г., в тот самый день, когда Съезд народных депутатов РСФСР собрался для обсуждения лишения Ельцина его поста, принстонский советолог Стивен Коэн выразил сомнение относительно правомерности массовых демонстраций протеста в поддержку Ельцина: "Правильно ли выводить на улицу сотни тысяч людей в тот самый момент, когда парламент, новый феномен в Советском Союзе, встречается для разрешения нелегких проблем?" С этой точки зрения, атаки консерваторов воспринимаются иначе, чем оборонительная реакция либералов.

² Oleg Rumyantsev. Who is Boris Yeltsin?. - "Washington Post", June 16, 1991. Считал ли так же на деле и Ельцин, остается, как мы увидим, неясным.

³ На Западе Яковлев известен как один из самых образованных и опытных советских политиков, но использование им определения "курсистка" как издевательского показывает, насколько относительно такие понятия как "самый образованный" и "самый опытный".

⁴ Жириновский имеет нечто общее с Тыминьским: и в нем многие видели креатуру секретной полиции. Похоже, КГБ использовал российские выборы для небольшого "исследования рынка": сможет ли кандидат, открыто апеллирующий к недовольству стоящих на низших ступеньках социальной лестницы групп населения, отхватить часть голосов у Ельцина? На это был получен отрицательный ответ. Но исследование все еще продолжается: Жириновский заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента СССР. (Тыминьский также создал собственную партию, известную просто под ярлыком "Х").

⁵ Ельцин впервые приобрел общенациональную популярность, критикуя привилегии партийного аппарата, в то время

как Горбачев всегда проявлял в этом вопросе удивительную нечувствительность. В феврале 1990 г., сразу после исторического решения КПСС отказаться от своей конституционной монополии на власть, Горбачев сбросил эту проблему со счетов. "Ну какие привилегии сегодня дает секретарю партийной организации его должность? То, что он мотается днем и ночью?" ("Правда", 12 февраля 1990 г., стр. 2).

⁶ "Moscow News", No 48. 1990, p. 15.

⁷ См. Jeremy Azrael, Sergei Zamascikov. The Enemies Within. — "New York Times", August 4, 1991.

⁸ Радикализм Ельцина помогал Горбачеву и раньше. Джульетто Кьеца, один из наиболее проникательных журналистов, освещающих советские политические дела, писал, что на съезде КПСС в 1990 г. консерваторов напугали предупреждения Ельцина о возможности в будущем судов над коммунистами, и они обратились к Горбачеву в поисках защиты. ("Problems of Communism", July-August 1990, p. 33)

⁹ См. показания Джерри Хафа на заседании Подкомитета по делам Европы Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 9 июля 1991 г.